

*Каждый выбирает по себе  
женщину, религию, дорогу  
Дьяволу служить или пророку –  
Каждый выбирает по себе.*

Булат Окуджава

## **1. О родителях, дедах и прадедах**

Раннее детство я помню очень смутно. Вообще меня всегда поражали рассказы писателей, подробно описывающих события и ощущения раннего детства. Помню, когда ещё в молодости читала «Жана Кристофа» Ромена Роллана, то долго не могла понять, что все эмоции, которым посвящены начальные страницы романа, – это переживания Жана ещё до рождения, в утробе матери! Что касается меня, то из своей жизни до трёх лет я вообще ничего не помню. Однако рассказы родителей и родных, старые фотографии, воспоминания знакомых и своё воображение, связывающее всё это в единое целое, помогли создать картину детства, без которой, наверное, жить было бы не так интересно. Своим рождением я, как это ни странно звучит, обязана всё же революции. Не будь её, мои родители вряд ли встретились бы и тем более – поженились. Очень уж разные жизненные пути им предстояли!

Мама, Галина Дмитриевна Боголюбская, происходила из старинной княжеской семьи, правда, сильно обедневшей, но с высокими традициями воспитания и образования. Революция застала её в возрасте пяти лет, родной отец незадолго до февральской революции умер от чахотки, и последующее детство её прошло в семье деда – инспектора народных училищ в г. Великие Луки. Этот пост он сохранил и после революции, т.к. чиновником был строгим и неподкупным. Рассказы «о дедушке Семёне Романовиче» сопровождали всё моё детство. Он был весьма незаурядным человеком и стал даже литературным героем – прообразом одного из персонажей романа Соллогуба «Мелкий бес».

О маме я ещё буду много рассказывать. Её жизнь была одновременно трагичной и счастливой, она была потрясающе талант-

лива, но не получила достойного официального образования, всё, чтобы она ни делала – делала великолепно, была гордой, красивой и умной. Но всю жизнь болела туберкулёзом и умерла рано. И чем больше проходит времени со дня её смерти, тем лучше я её понимаю, и тем ближе она мне становится. Мама, мама! Если бы ты была сейчас, как мы бы с тобой дружили! Как давно, как рано ты ушла, какой глупой и самовлюблённой я тогда была. «Минуты поздних сожалений, что в этом мире горше вас!»

Моя бабушка Лидия Семёновна была третьей в семье и третьей же дочерью. Когда она родилась, прадед был настолько расстроен рождением очередной дочери, что, взяв вожжи, ушёл на чердак вешаться. Бабушка об этом «случае» часто вспоминала, причём было видно, что такой реакции на своё рождение она отцу так и не простила. Однако четвёртым в семье родился сын, и это примирило прадеда с жизнью. Все дети получили хорошее образование: старшие дочери, например, закончили Бестужевские курсы в Петербурге, и все потом, в том числе и моя бабушка, работали учителями, но жили недолго – семью косила чахотка. Братья стали военными, офицерами, и революция их разъединила. Старший, Николай, был в белой армии, а младший, Роман – в красной. Что стало после революции с Николаем, я не знаю, о нём практически никогда в семье не говорили, а Роман командовал в Красной армии полком, был неумеренно отчаянным и храбрым, награждён именным оружием, но после окончания Гражданской войны со своим военным начальством не ужился, вышел на гражданскую службу, где тоже дела шли неважно: мешало и дворянское происхождение, и вспыльчивый характер.

В отличие от мамы, отец Николай Николаевич Логинов, был происхождения пролетарского – из семьи петербургских типографских рабочих. Его отец (мой дед) Николай Андреевич был внебрачным сыном графа Штейнберга, обергофшталмейстера двора его величества, и его экономки – архангельской поморки Любови Ивановны Логиновой. Прабабка не простила себе своего «греха», ходила всегда в чёрном, никогда не улыбалась, была строга к сыну, невестке и их детям. Отец даже по имени её никогда не называл, в семье её звали просто «чёрная бабушка». Граф официально сына не признал, но по-своему как-то поддерживал: помог ему получить хорошую специальность и вначале протезировал.

Дед, начав работать совсем молодым, вскоре занял должность мастера переплётного цеха в типографии, что было очень престижно и позволяло получать высокую зарплату. Он женился на

девушке-золотошвейке, и жизнь казалась, ему улыбалась. Пошли дети, и жить бы да радоваться! Однако пьянство – бич многих тогдашних семей, погубило его карьеру. По моему разумению, дед даже не был так уж виноват. Просто у него не было того личностного фундамента, который позволил бы ему пойти наперекор тогдашним традициям! А куражиться, доказывать своё умение в питеи, требовалось постоянно: сослуживцам, приятелям, соседям... И в подтверждение – «гулять», устраивать дома скандалы, бить посуду, «учить» жену. При этом он ведь и алкоголиком вовсе не был! Похоже, дед преуспел во всех этих художествах, поскольку незадолго до революции место мастера он потерял (говорить дома об этом не любили), стал простым переплётчиком в типографии. Видимо, и граф от него отступился, и к моменту революции семья сильно бедствовала материально.

Отец много рассказывал мне о своём дореволюционном детстве, голодном и неудобном. Вся семья жила в одной комнате в многокомнатной квартире на Большой Подъяческой улице в Санкт-Петербурге. Комнату снимали у хозяина с сентября по май, а на лето оставляли и, погрузив весь скарб на телегу, уезжали «на дачу» в Стрельну. Осенью возвращались в ту же комнату (кто ж её летом снимет!), и жизнь катилась дальше.

Всю работу по дому делала, естественно, бабушка Мария Фёдоровна. Она происходила из большой семьи рабочих при Императорском Мариинском театре. Она сама и три её сестры были золотошвейками, один брат – по декорациям, а другой – Дмитрий типографский, он-то и познакомил её с будущим мужем.



Логиновы Мария Фёдоровна и Николай Андреевич

В биографии Дмитрия Фёдоровича Семёнова был один удивительный случай. Повоевав в Первой мировой, а потом – в Гражданской войне, он вернулся в свою типографию, где работал наборщиком. Видимо, работал очень хорошо и был, как сейчас говорится, «в авторитете», потому что, хоть членом партии большевиков никогда не был, но после смерти Ленина был в составе Петроградской делегации рабочих направлен в Москву на похороны. И там произошёл такой любопытный случай. Как сам дядя Митя рассказывал, он стоял у гроба Ленина в почётном карауле в последней четвёрке, перед самым выносом гроба из помещения, откуда потом его повезли в Колонный зал для всеобщего прощания. А когда крышку гроба закрыли, и нужно было гроб поднимать и выносить, то, по его словам, оказалось, что присутствовавшее там партийное начальство не знало, как это делать. Тогда у гроба ручек не делали, а выносили его на полотенцах. Дяде Мите участвовать в похоронах было не впервой, и когда все замялись, он не растерялся, схватил полотенца, объяснил, что делать, расставил всех, а сам «ухватился за первое полотенце» в паре... со Сталиным. На всех фотографиях и кинохрониках рядом со Сталиным выносит гроб Ленина неизвестный высокий человек с длинным лицом, которого никто не знает. Это – дядя Митя. После похорон он уехал в Петроград, и никто из приближённых «вождя» не узнал, кто же он. Его долго не могли разыскать, а он никогда не высывался и об этом факте своей биографии никому долго не рассказывал. Вполне возможно, такая «скромность» спасла ему в те времена жизнь. Он ещё отвоевал в Великую Отечественную и умер в 1950 году.

Все Семёновы – и дядя Митя, и моя бабушка, и её сестры – очень хорошо пели. У бабушки было дивное природное колоратурное сопрано, и, хоть и ослабевшим, но чистым и высоким голосом она пела даже на своём восьмидесятилетии. Хорошо пели и все её дети, у моего отца был прекрасный тенор, а у обеих его сестёр – сопрано. Прекрасные концерты бывали у бабушки дома, когда семья на голоса пела оперные дуэты и квартеты. В те времена телевидения не было, и домашние концерты утоляли музыкальный голод. А ведь семья – простейшая, ни у кого не было не только высшего, но даже гимназического образования!

Отец мой – первый и единственный в семье, кто окончил институт и стал инженером. Как же бабушка им гордилась! Она пережила в Ленинграде блокаду, дед же, который раньше никогда не болел, слёг, как только начался голод, и уже в ноябре сорок первого года умер, в числе первых жертв. В блокаде осталась в



Семёновы (слева направо) Дмитрий Фёдорович (дядя Митя), Анна, Александра, Таисия

Ленинграде практически вся семья бабушкиных родственников – Семёновых, кроме дяди Мити, ушедшего на фронт, и большинство из них умерло от голода. Бабушку и её старшую дочь Татьяну с мужем и сыном спасли, в значительной мере, запасы переплётного клея, имевшегося у деда. Клей этот был натуральный, сваренный из «рогов и копыт», и его можно было есть. Плитки клея замачивали, а когда они набухали, из них готовили «бульон», в котором варили лебеду, листья капусты, добытые ещё осенью на полях. Несмотря на отвратительный запах, это всё же была пища, и она помогала выживать.

Бабушка умерла в 1962 году в Ленинграде, в той же комнате в коммунальной квартире, в которой прожила всю свою жизнь, 83-х лет отроду, успев подержать на руках двух своих правнуков – Ни-колушку и Тоню.

## 2. Мой отец

Родители мои встретились в Ленинграде в 1932 году в Артиллерийской Академии, где отец занимался на курсах усовершенствования, а мама работала чертёжницей.

Отец окончил в Ленинграде среднюю школу и сразу же поступил в престижный тогда Военно-механический институт. Ему, выходцу «из рабочих», хоть и пришлось выдержать большой вступительный конкурс, но путь в институт был открыт, и уже в



Мама Боголюбская  
Галина Дмитриевна



Отец Логинов  
Николай Николаевич

1932 году он получил диплом инженера по специальности «холодная обработка металлов». А вот его школьный друг, с которым они всю школу просидели за одной партой, будущий физик-атомщик и академик Борис Павлович Константинов из-за «буржуазного» происхождения ни в один ВУЗ принят не был, и диплом о высшем образовании получил (сдав Государственные экзамены!) только в 1957 году, уже будучи знаменитым физиком и даже академиком.

После революции семья отца продолжала жить на Большой Подъяческой улице в той же комнате, которую они снимали до революции. Только теперь эта комната принадлежала не хозяйну, а государству, и на лето её не нужно было освобождать. В этой же комнате они жили во время блокады, в ней умер мой дед, а потом – бабушка, а потом – её младшая дочь, и до сих пор живёт моя двоюродная сестра Светлана. Видимо, такова судьба многих старых петербуржцев: не видать им до смерти новых квартир, как своих ушей!

Отец мой с юности хорошо пел, и петь любил, внешность имел симпатичную, был весёлым и всегда – «душой компании». В молодости он трагически облысел, попользовав для улучшения волос какой-то разрекламированный «патентованный» препарат, но сумел справиться с отчаянием по этому поводу и в дальнейшем всегда опережал своих «друзей», сам над собой подшучивая. Уже

в этом проявилась душевная стойкость, сопровождавшая его всю жизнь и являвшаяся главной опорой нашей семьи в непростых обстоятельствах нашей жизни. Он влюбился в маму с первого взгляда и оказался однолюбом, не изменяя своему чувству в течение всей жизни.

Работать он начал в закрытом НИИ, где разрабатывали новые танки. В 1939 году, с начала финской войны, вошёл в отряд, занимавшийся диагностикой и ремонтом танков непосредственно после боя, и в этом отряде провоевал всю финскую, а затем – почти всю Отечественную войну.

В 1943 году во время Курской битвы он вступил в ВКП(б) и в дальнейшем это существенно повлияло на его жизнь. Сразу после войны, когда я «нашлась», мы жили очень – очень бедно. Ведь «нашлась» я не одна, а привела с собой ещё девочку – Риту, да и мои родители незадолго до этого разыскали и взяли к себе мамину родственницу: её семилетнюю двоюродную сестру Танюшку Кобозеву, оставшуюся в живых после блокады и смерти матери и старшей сестры Наташи. В результате мы жили впятером на папину инженерскую зарплату, (мама уже не работала из-за туберкулёза).

Жили впроголодь, ходили в ужасной одежде; в Ленинграде. правда, в это время было мало хорошо одетых сытых людей, и мы практически не выделялись из всех. В 1948 году, после первого разгрома Ленинградской партийной организации, папе «предложили» перейти на работу в Куйбышевский райком партии третьим секретарём – по промышленности. Отказаться было невозможно, да и материально это сулило семье некоторые перемены к лучшему. Он согласился, зарплата его возросла почти втрое, и я хорошо помню это время по тому, что впервые в доме появилась белая булка, а до того я ходила «смотреть на булку» в коммерческую булочную (после войны такие были). О своей работе он никогда ничего дома не рассказывал, во всяком случае – мне.

Я вообще жила в это время в каком-то внутреннем отдалении от семьи. Привычка к одиночеству, возникшая во время войны, развилась в стойкий эгоизм, и семья для меня была просто домом, где меня кормят, и где я провожу минимальное время. Дома что-то происходило, я отработывала необходимую, возложенную на меня работу, и мысленно убегала в свой, мне интересный, мир. Может быть, это свойственно вообще всем подросткам, а те, которые живут жизнью своей семьи, на самом деле не правило, а исключение? Хотелось бы так думать себе в утешение, поскольку ничего хорошего о себе – подростке я вспомнить не

могу. Нет, я никому не грубила, не хулиганила, не воровала, но я была равнодушной ко всему, что происходило вокруг, и старалась ускользнуть из всего, что меня непосредственно не затрагивало. Родственники отца меня тоже не интересовали, я понимала, что они маму не любят (а я всегда была за маму), и потому с папиной роднёй общалась мало. Восхищало меня только их пение. Я понимала, что и мой голос – это наследство Семёновых, а мой голос для меня тогда много значил. Собираясь на семейные встречи, они великолепно пели русские романсы, и, благодаря этому, я тоже знала и пела множество романсов (в дальнейшем я любила «это» показать в компании).

Отец мой боготворил маму и, хотя был привязан к своей родине, отдалился от неё именно из-за того, что они к маме относились плохо, нисколько этого не скрывая. И эта неприязнь не удивительна: мама и семья отца были как будто бы из двух разных миров. Благодаря тому, что, живя в семье как бы на «стыке» двух культур, двух разных типов миропонимания, я много общалась с той петербургской средой, из которой вышел мой отец, и стала гораздо лучше разбираться в людях и в мотивах, ими движущих.

Я поняла, как часто реакция человека на событие вытекает из его глубинного, происхожденческого восприятия мира, и для людей с другими «генами» оказывается удивительной, непонятной и неприемлемой. (Сейчас, когда стало модно показывать по телевизору политические дискуссии, которые часто напоминают разговор слепого с глухим, мне ясно слышны с детства знакомые интонации непримиримых врагов, и я понимаю, что они не договорятся никогда, потому что никогда не смогут друг друга услышать. Они ведь, употребляя одни и те же слова (других-то не придумано!) вкладывают в них совсем разный смысл, а потому и совершенно по-разному воспринимают одни и те же факты, и в их жизнях не существует побудителя примирения – любви, которая была в жизни моего отца.)

У отца была его жена, моя мама, человек из другого мира, бесконечно им любимый, и эта любовь заставила его самого измениться и стать мудрым, т.е. человеком, который видит мотивы поведения других и потому умеет отличать простые заблуждения от сознательной подлости. Во мне же, по мере понимания истоков различных «поведенческих реакций» выработалось существенно более мягкое отношение к людям. Я стала склонна прощать людям то, в чём они, по моему мнению, не виноваты. В дальнейшем моя «мягкая» реакция на многие события, как правило, была непонят-



на окружающим людям, а на самом деле происходила она именно из семьи и из детства.

Под маминым влиянием отец заметно развился интеллектуально. Он много читал, серьёзно изучал историю, хорошо знал и любил поэзию. Его скромность была поразительной. В перестройку, когда многочисленные болтуны от политики и журналистики пытались нажить себе капитал на поливании грязью прошедшей «коммунистической» эпохи России и выставляли её партийных деятелей людьми низкими, алчными и подлыми, мне становилось ужасно обидно за таких, как мой отец. В партию он вступил в 1943 году на поле боя, в самое трудное для страны время, и не выгоду это сулило, а расстрел при попадании в плен к немцам.

Призванный в 1948 году в партийные чиновники, он относился к этой деятельности как к любой работе, которую нужно делать как можно лучше. В то время мы жили всей семьёй в одной комнате в коммунальной квартире, без ванны, без газа, горячей воды и парового отопления, и мама болела туберкулёзом. Комната была сырая, в ней две стены – наружные, они за осень очень отсыревали и зимой покрывались плесенью. Отец проработал секретарём Куйбышевского, а потом – Ждановского райкома партии почти два года, когда маме стало совсем плохо.

И только тогда он попросил помочь ему поменять комнату на более сухую, и его партийное начальство было поражено тем, в каких условиях он живёт. Результат был невероятно юморной, другим словом я просто не могу его охарактеризовать. Очевидно, где-то была дана грозная команда «немедленно предоставить Логинову квартиру», а требуемой квартиры в записке не было. Но приказ есть приказ, и нам немедленно предоставили квартиру на Дворцовой набережной в доме рядом с Эрмитажем. Квартира была огромная: анфилада дворцовых комнат с каминами и зеркальными окнами на Неву с видом на Петропавловку. Был ноябрь, с Невы дул ветер, в квартире, несмотря на паровое отопление, был жуткий холод. Но приказ «переехать» не обсуждался, и мы переехали в эту квартиру. Все вещи поместились на одном грузовике, мы их поставили в углу последнего зала около камина. Камин топили круглые сутки, мама только этим и занималась, но всё равно было очень холодно. Мы эту дворцовую пытку выдерживали примерно два месяца, пока, наконец, не достроили новый дом недалеко от Смольного и там отцу дали тёплую трёхкомнатную квартиру с паровым отоплением. По тем временам это было райское блаженство: большинство ленинградцев тогда ещё жили в коммуналках.

Постепенно и мама стала выздоравливать от туберкулёза (появились антибиотики), но тут на отца свалилась беда: второй разгром Ленинградской партийной организации в 1952 году отправил его в тюрьму, и он остался жив, только благодаря смерти Сталина. Мы с мамой оставались жить в нашей квартире, нас не тронули. Как выяснилось потом, к отцу хорошо относились чиновники в обкоме, от которых зависело наше выселение из «ведомственного» дома. Уверенные, что «Логинова выпустят», они придержали документы на наше выселение.

В эти полгода я впервые как бы проснулась и с изумлением наблюдала метаморфозы многих хороших знакомых. Раньше нас все любили, соседи по дому с нами с радостью здоровались, разговаривали, звали в гости. Во время же папиного ареста, когда я выходила на лестницу, двери других квартир в испуге захлопывались, и лестница «вымирала». Меня это даже не огорчало, удивляло, пожалуй, а мама переживала ужасно, считая себя виноватой в папиных несчастьях (в его обвинении главной виной было мамино дворянское происхождение). К нам никто не приходил, жили только на мою стипендию (видимо, по той же причине, что и квартиры, меня не лишили стипендии), никаких сведений об отце не имели и своего будущего не представляли.

В это время произошёл один забавный инцидент, сам по себе ничего не значащий, но в моей жизни – первый, а потому запомнившийся и, как говорят, «оставивший в душе заметный след». В течение лета, предшествовавшего папиному аресту, за мной усиленно ухаживал молодой человек, сын третьего секретаря того райкома, где папа был первым секретарём (это я сейчас так подчеркиваю, а тогда он был для меня просто сын хороших знакомых, и всё). Мне льстило его внимание: он был курсантом военного училища, высоким и симпатичным, ухаживал красиво и ненавязчиво. Первого сентября у меня день рождения, была вся моя институтская группа, и Юра заявился с букетом и подарком, чем всех очень заинтриговал, а со второго сентября начались папины неприятности. Мы с мамой, в основном, были заняты своими семейными переживаниями, и то, что Юра пропал и давно не появляется, я как-то не скоро сообразила. А когда сообразила, то позвонила пару раз, но всё время попадала на его маму (которую очень хорошо знала), которая говорила мне, что Юры нет дома. Ну нет, так нет, не больно-то и хотелось, и я про него почти не вспоминала, занятая мамой, учёбой и домашними делами. Однажды вдруг раздаётся звонок в дверь (а к нам в это время никто не при-

ходил), открываю дверь и вижу: на пороге стоит Юра. Я обрадовалась, поздоровалась, а он ужасно смутился и забормотал что-то вроде: «разве вы ещё здесь живёте», развернулся и быстро-быстро сбежал вниз по лестнице. Я выглянула в окно и увидела, как он подошёл ко всей своей семье, стоявшей на тротуаре напротив, и стал им что-то объяснять, а потом они все ушли.

Видимо, им сказали, что нас выселили, и что теперь в этой квартире живёт какой-то другой «нужный» человек, но они из осторожности послали Юру на разведку. Так и закончился, не начавшись, мой «роман», и я рада, что судьба вовремя остерегла меня, не позволив ввалиться в какое-либо более тяжёлое разочарование. В дальнейшем в жизни мне ещё не раз приходилось быть предаваемой в различных ситуациях, но это предательство было самым первым и самым примитивным. Не знаю, что за человек вырос из Юры Русакова, но по тому, как он начал жизнь, думаю, что он ещё много кого предал. Я его больше никогда не встречала, но случай этот мне очень запомнился.

После освобождения папа несколько месяцев не работал, всеми силами отказываясь от любых, самых лестных предложений вернуться на партийную работу. Основным его аргументом была болезнь жены и невозможность, потому уехать из Ленинграда (ему предлагали стать первым секретарём Рязанского обкома партии).

Наконец, его оставили в покое и предложили работу хозяйственную: через некоторое время он стал директором Ленинградского филиала НИИХиммаша, который в короткое время из задрипанного учрежденьца превратил в мощный самостоятельный институт – ЛенНИИХиммаш. Возглавляя этот Институт почти двадцать лет, он во всём остался верным себе. Институт был известным научным и проектным учреждением, в нём велась активная научная работа, писались статьи и защищались диссертации, но ни в одной работе директор не был соавтором, как его ни упрашивали. Он так и остался до смерти «инженером Логиновым», но пользовался в научной среде огромным авторитетом. Он никогда на работе (и дома) не повышал голоса, никогда не употреблял мата и другой брани, никогда не откручивался от ответственности, беря на себя самые крупные неприятности, и, хоть был он вполне строг и требователен, его очень любили в Институте.

Конечно, были и у него недоброжелатели, поскольку он никогда сам не воровал и другим воровать не давал. В это время в НИИХиммаше шло интенсивное строительство нового здания,

и шло оно трудно, ибо все дефицитные стройматериалы нужно было «выбивать». Отец много ездил по командировкам, обращался за помощью даже к Председателю Совета Министров Косыгину (о котором отзывался очень хорошо), через его руки проходили огромные денежные и материальные средства, и, естественно, его враги считали, что уж что-нибудь он да украл, и тут-то они его и прищучат!

Я как раз в 1965 году, сломав ногу, временно жила у родителей, когда к ним пришла комиссия проверять анонимку о том, как отец отделал свою квартиру ворованными стройматериалами. Надо сказать, что жили родители в это время в пятиэтажной «хрущёвке» в крохотной двухкомнатной квартире на первом этаже, где кухня была в 5,5 кв метра, а стены ванной и туалета окрашены по штукатурке масляной краской, уже порядком облезшей. Когда члены комиссии бодро вошли в квартиру (я даже не поняла, в чём дело) и быстро разбежавшись, заглянули во все места, которые должны были, по мнению авторов анонимки, быть отделаны дефицитом, они снова собрались в коридоре и, сказав только, «извините, Николай Николаевич» быстро ушли.

Только после этого отец объяснил нам с мамой, в чём дело, и я помню, как мама сказала: «Мне их жаль этих людей из комиссии, ведь им, наверное, очень стыдно сейчас!». Ведь действительно, ни папе, ни маме, ни мне не приходило даже в голову, что дома можно использовать что-то ворованное. Мы жили очень скромно, но было нам друг с другом хорошо.

### **3. Мамина молодость и её родители**

Моя бабушка, Лидия Семёновна Боголюбская (в девичестве – Дмитриева), в Великих Луках в 1920 году вторично вышла замуж за учителя той же школы, в которой она работала и в которой училась моя мама, Николая Николаевича Боголюбова.

В тридцатых годах семья переехала в Гатчину под Ленинград, где и дед, и бабушка преподавали литературу и русский язык в местном Педагогическом училище. К этому времени дед закончил экстерном Ленинградский университет, а потом заочно они оба окончили Герценовский институт. Как педагог бабушка превосходила его: у неё был подлинный педагогический талант, и любовь бесконечного числа учеников сопровождала её всю жизнь.

Дед же был и человеком, и учителем очень строгим, и его не очень волновало, любят ли его ученики. Обладая в домашнем оби-

ходе крайне плохим неразборчивым почерком, он любил правописание, великолепно его преподавал и писал по правописанию учебники, с образцовыми прописями. Дед не имел учёных степеней, зато носил титул «самого грамотного учителя Ленинграда».

Титул этот, подкреплённый соответствующей грамотой от ГОРОНО, он получил следующим образом. После войны учителей в Ленинграде не хватало, и русский язык в школах преподавали, кто попало и на очень низком уровне.

Чтобы выявить уровень грамотности ленинградских учителей русского языка, в актовом зале Дома учителя (в Юсуповском дворце) для них была проведена общегородская диктовка. Единственный учитель, который не сделал в ней ни одной ошибки, был Н.Н. Боголюбов. Бабушка сделала три ошибки и так ужасно расстраивалась всю оставшуюся жизнь, что при ней никогда об этом не вспоминали. А вообще-то были учителя, которые сделали в диктовке больше ста ошибок. Вот так дед и заслужил титул «самого грамотного учителя Ленинграда».

В Гатчине до войны у них был свой дом с огромной библиотекой и садом, и большая овчарка по имени Грей.

В 1941 году, когда немцы стремительно приближались к Ленинграду, бабушка и дед с детьми пешком ушли из Гатчины в Ленинград, взяв с собой только то, что могли унести на руках. Грей шёл с ними, но с полдороги вернулся домой. Соседи говорили потом, что он не пускал немцев в дом, и они его застрелили. А дом потом сгорел, и вместе с ним сгорела и библиотека, и все домашние архивы Боголюбовых и Боголюбовских. После войны папа, разыскивая нас, ездил в Гатчину, и на пепелище нашёл только бронзового слоника с пробитым боком, которого я теперь храню у себя дома.

Поскольку у Боголюбовых в Ленинграде не было своего жилья, их сразу же эвакуировали через Ладогу, и «в блокаде» они прожили всего несколько дней. Половину войны они провели, преподавая в сельской школе в селе Большая Уча в Удмуртии, где дед был директором школы, а бабушка – завучем. Из десятого класса этой школы в 1943 году ушёл на фронт их сын Андрюша, которому незадолго до этого исполнилось 17 лет. На фронте он был, как Алёша в «Балладе о солдате», истребителем танков в битве на Курской дуге.

Он был трижды ранен, в третий раз – смертельно, пулей в грудь навывлет. Его вынесли с поля боя и в полевом госпитале прооперировали, частично вынули рёбра и развороченное лёгкое, но

состояние было очень плохим и быстро ухудшалось. Из госпиталя сообщили его родителям, и бабушка с дедушкой, бросив Учу, уехали в Куйбышев, где Андрияша загибался в госпитале. Они забрали его домой «под расписку» и выходили, не дали умереть. Два года у него гнили раны, но всё же молодость и природное здоровье помогли выжить. Он окончил школу, потом Горный институт, был полевым геологом и геофизиком, защитил диссертацию, женился, вырастил дочь Елену и умер почти в восемьдесят лет.

Мамина сестра, моя тётка Нина родилась в первые минуты нового 1921 года. В момент её рождения мать Лидия Семёновна умерла от тифа, все суетились вокруг неё и новорождённую девочку, которая была так слаба, что даже пицала еле слышно, завернули в шубу и положили в кресло. Вспомнили про неё только утром, когда у бабушки миновал кризис, и еле разыскали среди всякого тряпичного барахла. Её выходили, но она очень болела в детстве и до зрелого возраста осталась балованной маленькой девочкой, как бы не участвующей в трудностях выживания семьи. Она закончила филфак Ленинградского университета и аспирантуру у самого профессора Чудновского.

О раннем детстве моей мамы я знаю очень мало. Она родилась в 1911 г. Имение отца, где она провела ранее детство, было где-то под Кингисеппом. После смерти Дмитрия Андреевича Боголюбского от чахотки в январе 1917 года его вдова, Лидия Семёновна, забрав дочь, уехала на время траура к своим родителям в Великие Луки. Дальнейшие обстоятельства сложились так, что в свой дом она больше никогда не вернулась. В период революции дом



Боголюбские Лидия Семёновна и Дмитрий Андреевич

сторел, и я даже примерно не представляю себе, где находилось имение деда (мама мне рассказывала, но я в то время не придавала этому значения и не запомнила). Бабушка стала работать в школе, познакомилась с Николаем Николаевичем Боголюбовым и в 1920 году вышла за него замуж. Молодые поселились в родительском доме у Семёна Романовича: в эти сложные (и голодные!) годы можно было выжить, только держась вместе. Мама плохо ассимилировалась в новую семью и с приездом матери и отчима её жизнь у дедушки Семёна Романовича практически не изменилась: отчим в её воспитание не вмешивался, и она продолжала жить, как и жила раньше, в одной комнате со старшей сестрой своей матери – Антониной Семёновной, тётей Тоней, которую очень любила. Тётя Тоня была женщиной чрезвычайно образованной, «бестужевкой», «интеллектуалкой», и с любовью занималась воспитанием племянницы. Однако болела чахоткой, и в 1928 году умерла, заразив маму туберкулёзом.

Закончив в 1929 году школу, мама не захотела оставаться в Великих Луках, и уехала в Ленинград, надеясь там поступить в институт. Она поселилась сперва у своей тётки, младшей сестры отца, Нины Андреевны Вершининой (Боголюбской). Этот период жизни мама не любила вспоминать. Во-первых, её не принимали ни в один институт из-за «непролетарского» происхождения, а она в общей сложности 11 раз сдавала вступительные экзамены! А во-вторых, её жизнь у тётки Нины фантастически контрастировала со всем, что мама до того в жизни видела.

Нина Вершинина в это время была одной из «львиц» литературно-театральной богемы, «роковой женщиной» этого божественного мира. Я видела её фотографию, она, на мой взгляд, вовсе не была красива, но мама говорила, что власть Нины над мужчинами была поразительной, и что в обольщении их для неё не было преград. Она со всей присущей ей страстью стремилась «образовать» свою красивую племянницу и ввести её в свой мир, и в какой-то момент, видимо, в этом вполне преуспела. Мамой заинтересовались «львы» этой богемы, она очутилась в центре блестящего общества (а было ей всего 18 лет!) и неудивительно, что в одного из этих «львов» она безумно влюбилась. Однако тётка Нина, которая, видимо, знала цену «львам», вовсе не хотела, чтобы племянница так запросто «пропала», и решила показать ей, чего стоит предмет её любви. Она быстренько и на глазах всего общества отбила у мамы этого деятеля, считая, что для той только полезно знать цену «красивой» любви.

Мама, однако, эту историю пережила очень тяжело, с тёткой порвала на всю жизнь, ушла от неё и стала жить самостоятельно. В этот самостоятельный период она предприняла ещё одну попытку поступить в институт, теперь – через Рабфак. Чтобы заработать рабочий стаж, она поступила на работу эмальерщицей, в горячий цех, где делали медали и значки. В помещении, где они работали, было так невероятно жарко и душно, что работницы падали от жары в обморок, и спасались тем, что в процессе работы по очереди поливали друг друга водой. Мама, несмотря на свой туберкулёз, выдержала год этой работы («горячий» год шёл за два), заработала нужный стаж, и в это время ... отменили Рабфаки! После этой неудачи она прекратила свои попытки получить высшее образование, закончила конструкторские курсы и стала работать в конструкторском бюро Артиллерийской Академии. Там она и познакомилась с моим отцом, проходившем в это время в Академии военную стажировку.

От маминой юности в нашей семье осталось несколько толстых тетрадей со стихами поэтов начала века – поэтов «Серебряного века», поэтому я познакомилась с поэзией Бальмонта, Полонского, Северянина, Гумилёва и многих других в те времена, когда о них не только не говорили в школе, но и вообще как бы забыли.

Как я поняла потом, мама была знакома со многими поэтами начала 30-х годов, и именно кто-то из них был её роковой любовью. Но об этом, как я уже говорила, мама всегда молчала, рассказывать она соглашалась только о поэзии, но никогда – о поэтах. В нашем доме вообще было много литературы, много «гуманитарного»: и у бабушки, да и у мамы нет-нет, а прорывалось что-нибудь на французском, а когда я спрашивала, что они говорят, они смущались и старались чем-нибудь отговориться. Но я в те времена была очень глупа, занята только собой и своими переживаниями, в основном, относительно своего маленького роста или чем-то, не менее великим, и потому не успела узнать многое, о чем теперь очень и очень сожалею.

#### **4. Я – до войны**

Раннее детство – пора далёкая и туманная, и от тех времён у меня остались только отдельные воспоминания, яркими пятнами. Наша семья была дружной, я не помню за всю свою жизнь, чтобы мама с папой ссорились, кричали друг на друга или друг друга оскорбляли. Жили мы с момента моего рождения и до 40-го года на



Малом проспекте Петроградской стороны в крохотной комнатке в коммунальной квартире. Эта квартира когда-то стала коммунальной, когда маму и ещё человек пять молодёжи в неё вселили, «уплотнив» бывших владельцев квартиры – двух сестёр-немок, которые после того жили вместе в одной из комнат квартиры, но вели себя так, как будто бы вся эта молодежь – их «жильцы», обязанные подчиняться строгому немецкому распорядку жизни. Я этого не понимала, и всё время норовила проникнуть в комнату «хозяек», за что меня ругали хозяйки, и наказывали родители.

Правда, наказывал меня (ставил в угол) только папа: его воспитание допускало наказание, но он никогда меня не бил. Мама же меня не наказывала никогда, только уговаривала, а если я совершала какой-нибудь недостойный, по её мнению, поступок, она становилась ужасно грустной, что действовало на меня сильнее всех папиных наказаний.

Когда подошла очередь, меня отправили в детский сад. К тому времени я уже оформилась в достаточно самостоятельно-го и свободолюбивого ребёнка и потому, видимо, мне в детском саду страшно не понравилось. Мои родители очень скоро всё про детский сад поняли и при первой возможности с ним покончили, определив меня в частную детскую «немецкую» группу, так что с пяти лет и до самой войны я учила немецкий язык.

К 39 году, когда наша семья поселилась в комнате на Площади Коммунаров, в Ленинград перебралось много родственников, и к нам стали приходить гости. Мама особенно подружилась с семьёй своей тётки Анны Семёновны. Тётя Анюля, как я её звала, была всего на 7 лет старше мамы.

В 39 году у тёти Анюли родилась ещё одна дочь – Танюшка (моя тётка, так сказать), которая единственная из них пережила блокаду и после войны несколько лет жила в нашей семье.

На лето мы обычно ездили в деревню на Псковщину. Как я теперь думаю, это, видимо, была одна из деревень, в старые времена входившая в имение мамино отца, и многие из крестьян относились к маме, как к «барыне»: приглашали к себе жить, помогали с её нехитрым домашним хозяйством, присматривали за мной.

Не знаю, по какой причине мы перестали туда ездить, но с 39-го года мы с мамой стали на лето уезжать на Украину, в огромное село Перекоповка. Благодатное село это – одно из последствий бурной деятельности Столыпина, который, в частности, пытался восстановить на Украине почти полностью сведённые там леса. По его указаниям по всей средней полосе Украины на голых песках

были посажены сосновые леса, и именно между такой лесной полосой и речкой Суллой и разместилось село Перекоповка.

Через него проходила железная дорога, на полустанке на пару минут останавливался поезд, и это облегчало приезд туда массы дачников из северного и прохладного Ленинграда. В Перекоповке мы жили в районе под названием «Пески», наши хозяева – Кеденки к нам очень хорошо относились. От дома до одного из рукавов речки было метров сто, не более, у хозяев была лодка. На этой лодке мы много путешествовали по плавням живописнейшей речки Суллы, притока Днепра.

## 5. Война. Беспризорничество

Мои личные воспоминания начинаются с июня 1941. Лето 1941 года мы с мамой, как и все последние годы, проводили на Украине, на Полтавщине. Перекоповка летом заполнялась дачниками, в основном, из Ленинграда, потому что туда было легко доехать на поезде. Ездили туда каждый год к одним и тем же хозяевам, дачники быстро знакомились друг с другом. Выезжали целыми родственными кланами: вместе с мамой, например, была и семья её тети Анюли, и бабушка Лидия Семёновна с Николаем Николаевичем и детьми и ещё многие знакомые и родственники, имена которых изгладились из моей памяти. Сосновый лес, река, сухой воздух – что ещё нужно для здорового отдыха двум лёгочникам, какими мы с мамой были.

Перекоповка – село богатое, полторы тысячи дворов. Базары – как Сорочинская ярмарка. Из окрестных сёл на базары приезжали усатые дядьки на огромных телегах-гарбах, запряженных парой волов, и чего только не везли! Говорили дядьки на настоящем украинском языке, а не на том обрусевшем слэнге, на котором говорило население Перекоповки, поколениями привыкшее к русским дачникам.

Настоящий украинский язык понимать непросто, из-за этого случались всякие смешные истории. Тётя Анюля, например, в 39 году, впервые попав на необъятный Перекоповский базар, захотела купить арбуз. Она ткнула пальцем в один из арбузов, лежавших на огромной гарбе, и спросила длинноусого дядька: «Сколько стоит?». Тот ответил что-то непонятное, но цифру-цену она уловила. Цена показалась ей великоватой, но очень хотелось арбуза, и она ответила: «Да». «Куды везть?» – спросил дядёк. Она очень удивилась: «Надо же, здесь покупки развозят по домам!». Но от-

ветила: «К Кеденкам, на Пески». Вернувшись с базара, она сказала маме, что купила арбуз, и его скоро привезут. И действительно, спустя некоторое время во двор к Кеденкам въезжает гарба, полная арбузов! Оказывается, тётя Анюля купила их все! Что только ни делали потом их этих арбузов! Больше всего мне запомнилось вино, не по вкусу, конечно, а по звуковым эффектам. Вино делали так: у арбуза на клин вырезали кусок корки и в мякоть закладывали несколько изюмин. Потом корку ставили на место и крепко привязывали. Эти арбузы складывали под дощатый настил, на котором спали (по-украински «пил», а пол в хатах, по которому ходят – глиняный, и назывался «дил»), где эти арбузы лежали и бродили. При удаче в каждом образовывался алкогольный напиток, пенистый и, как говорили, очень вкусный. Неудачливые арбузы взрывались и могли это делать когда угодно: днём, ночью... Сила взрыва впечатляла, особенно меня, тем более, когда это происходило прямо подо мной. Но взрослые не огорчались (арбузов было много), смеялись.

Я плохо помню довоенную часть этого жаркого лета 41 года, мне было шесть лет, и жизнь для меня была, наверное, прекрасна (продолжительное прекрасное, как правило, в детстве, не запоминается). Накануне 22 июня у нас в Перекоповке был очень дождливый день, на дорогах налились огромные лужи. Когда по радио передали о начале войны, наши мамы забыли про нас, детей, обсуждая, видимо, что же теперь делать. А я с наслаждением просидела весь день в луже, устраивая купанье моей игрушечной зайке – Альке. В этот день я простудилась, снова заболела двусторонним воспалением лёгких и попала в Перекоповскую больницу.

Наши мамы сперва не верили, что война может добраться до Полтавщины, и считали, что она скоро закончится, а мы можем оставаться в своей Перекоповке. Но когда выяснилось, что немцы стремительно наступают, все дачники помчались назад, домой, в Ленинград. Тётя Анюля с дочками Наташей и Таней буквально прорвалась в Ленинград 7 сентября с последним эшелонам, и потом они умерли в блокаду от голода.

А мама не могла уехать, она была при мне в больнице. Немцы стремительно наступали, и уже нависла угроза остаться в Перекоповке под немцами. Мама ничего не знала о папе и была уверена, что он на фронте. Также думали и окружающие аборигены Перекоповки, и соседка наших Кеденков уже предложила маме идти к ней в батрачки, обещая, что тогда она не скажет немцам, что «твой хозяин против немцев воюе». Мама рвалась уехать до-

мой, ещё не зная, что путь в Ленинград уже отрезан, и как только меня выписали из больницы, мы, собрав вещички, двинулись в Ромны – железнодорожный узел, где мама надеялась сесть на какой-нибудь поезд. Но оказалось, что пассажирские поезда уже не ходят, а беженцев в Ромнах тучи, и маме со мной удалось пристроиться в полувоинский эшелон, в котором вывозили какое-то имущество. Нас, как и других беженцев, пустили только на крышу вагона. Там мы и поехали, привязавшись к вентиляционному грибку, вместе со многими другими людьми: все крыши всех вагонов были заполнены беженцами. В первую же ночь нашего путешествия эшелон был обстрелян и разбомблен немецкими самолётами, а мы с мамой свалились с крыши по разные стороны от вагона.

Так начались мои военные скитания по стране.

Эта картина горящего эшелона и непроглядной темноты за спиной стоит у меня в глазах всю жизнь, а сливающийся рёв пикирующих самолётов, рвущихся бомб и крика сотен людей – кошмар бреда всех моих болезней в детстве и молодости. Уцелевшие люди бежали от света горящего эшелона в темноту степи. Какие-то незнакомые люди ухватили меня за руки и потащили с собой в степь. Я кричала «мама, мама», но они говорили мне: «утром найдём твою маму» и, конечно, сами верили в это. А, может быть, просто это были очень хорошие люди, которые не могли бросить маленького ребёнка и спасали меня, не думая о последствиях? Я не знаю (не запомнила), как их зовут, и, конечно, их уже нет на свете, но хотелось бы верить, что это доброе дело им как-то зачлось в жизни.

Утром мы шли уже далеко от эшелона, но среди тех, кто двигался вместе с нами, мамы не было, и мои спасители вынуждены были взять меня с собой в Харьков, куда стекались все беженцы. Там они намеревались сдать меня каким-нибудь властям, в милицию или в детский дом, но в Харькове уже всё эвакуировалось или бежало, и меня никуда не брали.

Теперь я вполне понимаю, как им из-за меня было плохо. Они не знали, как от меня отделаться, поскольку были, видимо, очень порядочные люди и просто бросить ребёнка не могли.

В это время мы жили в гостинице «Харьков» в маленьком номере. Я никуда из номера не выходила и, в основном, плакала, сидя в углу комнаты на полу. Ведь жизнь так внезапно и так страшно переменилась! Нет мамы (мне говорили, что она, видимо, погибла), и я полностью понимала, что это такое, потому что за время пути

к Харькову уже насмотрелась на трупы убитых людей. Что эти незнакомые люди, если смотреть объективно, ко мне невероятно добры, я не понимала. Мне казалось, что они меня всё время ругают и обвиняют во всех своих неприятностях, но что же делать мне – я не знала.

Помню, я тогда думала, что если мама умерла, то ведь в Ленинграде у меня есть папа, и собиралась убежать из гостиницы и идти в Ленинград к папе. Но в это время случилось событие, которое в корне изменило ситуацию. Моих опекунов (буду их так называть) из-за меня, на которую у них не было никаких документов, и которая, таким образом, незаконно проживала в гостинице, из этой гостиницы выгнали. Очень хорошо помню, как мы ехали на телеге через Харьков на частную квартиру за рекой, и каким удовольствием было это путешествие после стольких дней взаперти! И так случилось, что этой же ночью немцы разбомбили гостиницу «Харьков». Она была так неудачно построена, что практически никто из живших в ней не спасся.

Мои опекуны были потрясены своим чудесным спасением, и теперь они считали, что это я их спасла: не выгнали бы нас из гостиницы – лежать бы им сейчас под её развалинами. С этого момента их отношение ко мне полностью переменялось – они окружили меня заботой и лаской. Но немцы стремительно подходили к Харькову, все, кто мог, из Харькова уезжал, уходил, убегал. К тому же приближалась осень, а никакой одежды, кроме той, что на себе, у нас не было, не было денег и негде было жить. Я совсем не знаю, как мы попали в эшелон с беженцами, шедший из Харькова на восток, и очень плохо помню долгую и нудную езду в нём. Было холодно, а тёплой одежды не было.

В Ярославле путь эшелона закончился, и дальше мы двинулись куда-то «на перекладных» – то на телегах, то пешком. Здесь в каком-то большом селе на верхней Волге я навсегда рассталась с моими опекунами и спасителями. В преддверье начинающейся зимы они оставили меня – «сиротку» – в бездетной семье (староверческой?). При расставании мы все плакали, но они, утешая меня, говорили, как мне будет хорошо, сытно и тепло, в этом доме, где меня будут любить, как родную дочь. В это время мне только что исполнилось семь лет.

Зиму 41–42 года я вспоминать не просто не люблю. Много лет эти воспоминания были у меня как бы под запретом, и моя память прятала их глубоко-глубоко. Хотя на самом деле я помню всё: и как называлась деревня, и имена моих «родителей». Вот только

теперь, когда я научилась смотреть на себя и на свою жизнь как бы со стороны, без особой любви к себе и с максимально возможной для такого взгляда объективностью, я понимаю, что не так уж эти «родители» были и плохи: могло быть гораздо хуже! Они ведь кормили меня, я жила в доме, а не в сарае, они даже по-своему учили меня!

Просто столкнулись две цивилизации, два разных мира, два разных воспитания. Мне было семь лет, но я считала обычным и правильным, что взрослые относятся ко мне с любовью и уважением, а я к ним – с любовью и послушанием. Я умела читать, знала много стихов и уже участвовала в детских спектаклях, прилично знала французский (от мамы и бабушки) и немного немецкий (занималась в немецкой группе). А здесь попала в какой-то дикий век, в эпоху домостроя.

Я очень старалась понять, что они от меня хотят. Сначала пыталась «блеснуть» своими знаниями – меня били, потом пыталась научиться вести себя по их правилам – меня тоже били, учила молитвы, была послушной, с радостью делала то, что мне поручали. Но оказалось, что радоваться тоже нельзя, можно только молчать и молиться.

Видимо, послушание у меня получалось плохо, я вначале робко возражала, а когда бить меня стали, практически, ежедневно, я стала дерзить с отчаянием обречённого. Что такое стоять на коленях на горохе, я знаю не из литературы, и что чувствуешь, когда бьют по свежим синякам – тоже. Но сломать меня моим мучителям не удалось, а стойкость, которая у меня (видимо) была, в этих испытаниях полностью проявилась. Была одна цель – дожить до весны, а весной, как только потеплеет, я твёрдо решила убежать и идти в Ленинград к папе. Главным итогом моей жизни у этих «родителей» стало абсолютное и убеждённое безбожие. Всё, что в жизни может привести человека к вере, было из меня выбито. Я на всю жизнь запомнила тот страшный день, когда, очередной раз избитая за то, что не так положила ложку, и устав просить бога о помощи, решила: больше жить не могу, как умереть – не знаю, и пусть бог убьёт меня за святотатство. Я взяла вилку и проткнула икону. Но ничего не случилось, а я, подождав и не дождавшись грома небесного и смерти, потеряла сознание. Больше никогда я не обращалась к богу даже с малыми просьбами или жалобами, став убеждённой безбожницей на всю жизнь.

Видимо, сбежала я в конце мая. О своих планах никому не говорила, и потому меня не заперали: по дому и усадьбе я ходила

свободно. Оделась тепло (помнила, как мы мёрзли предыдущей осенью), взяла с собой хлеба и ушла «в Ленинград». В какую сторону идти, выяснила ещё зимой. Больше никогда этих людей не видела.

Вот ведь как устроена память! Тех людей, которые меня спасли, которые возились со мной и беспокоились о моей судьбе, моих «опекунов», я не могу вспомнить! Не помню их имён, внешности. А этих я, если бы умела рисовать, и сейчас бы могла нарисовать по памяти. Сколько лет я их ненавидела!

Теперь я думаю, что объективно мне нечего уж так на них «катить бочку»: они меня не убили, а могли бы, я пережила у них очень тяжёлую холодную зиму, и проявился и закалился мой характер, благодаря которому я всё же выжила в жестоких условиях Великой Отечественной войны. Правда, люди тогда в своей массе были совсем не такими, как сейчас, другими: за всё время моих последующих скитаний мне не встретился ни один грабитель или насильник, а вот добрые люди встречались постоянно. Спасибо им большое.

Лето 42 года я беспризорничала, попав в братство таких же детей, большинство из которых «просто так жили». А у меня была цель, и потому я нигде надолго не задерживалась. В основном моя жизнь протекала на вокзалах или вблизи них, потому что я неуклонно «ехала в Ленинград». Ехала в эшелонах, в вагонах или под вагонами, на крышах и вагонных площадках, от станции к станции, как придётся. Когда становилось уж очень голодно, я, как и все беспризорные дети того времени, сдавалась в милицию с тем, чтобы попасть в детский приёмник. Чтобы не стать известной в милиции, каждый раз называлась разным именем. В детском приёмнике нас мыли, дезинфицировали одежду, кормили. Мне, конечно, говорили, что Ленинград в блокаде, но что такое «блокада», я не понимала и воспринимала эти слова только как попытку отговорить меня от возвращения домой, а потому не принимала во внимание. Как только в приёмнике формировали группу для отправки в детский дом, я, придумав очередную хитрость, сбегала снова. Но, несмотря на все старания, мне удавались только болтания по средней России, и к осени 42 года я снова почему-то очутилась на Урале. Было уже очень холодно, и опять пришлось идти в детский приёмник. Так я попала в Нижний Тагил в детский дом, где и провела зиму 42-43 годов.

## 6. Детский дом и Большая Уча

Город Нижний Тагил я совершенно не помню: когда нас привезли в этот город, там уже была глубокая и холодная зима. Поскольку тёплой одежды у меня и большинства детдомовцев не было, мы практически всё время проводили в помещении. В этом детском доме были дети от 4 до 17 лет. Младшие ничем не занимались – школы почему-то не было. Вся зима для меня прошла, как сон: дни, похожие, как близнецы: холодно и непрерывно очень хочется есть.

В этом детском доме была интересная самоорганизация. Откуда она возникла, знали ли о ней воспитатели? Старшие мальчики с 12 лет работали на заводе (может быть, и девочки, но я не помню). Говорили, что раньше старшие просто отнимали у малышей еду и неудачливые малыши доходили до дистрофии и даже до голодной смерти. Но в то время, когда я туда попала, всё уже было по-другому. В это время старшие, наиболее сильные ребята собирали себе «команды» малышей, которых они защищали от других «старших», как говорилось, «за полпорции еды». Зато оставшиеся полпорции никто у тебя не отнимет, а, значит, от голода ты не умрёшь! Я сразу же попала в очень большую команду к парню по имени Паша (больше ничего о нём не помню), где вошла в тройку малышей: Рита, Лиля и я. Рите было 11, Лиле – 4, а мне – 8 лет. Поскольку у Паши была большая команда, он брал с нас троих одну порцию, оставляя нам две (а иногда не брал вовсе!). Счастье еды составляло основу жизни.

Вечерами топили большие печи, все команды собирались перед ними, грелись и слушали радио. Радио было для нас всем: источником информации (о войне и фронте знали все и всё, ведь у всех жизнь в детском доме была связана с войной), источником новых песен и юмора, надеждой на скорое окончание войны. И вот однажды по радио я услышала, как выступала моя бабушка – Лидия Семёновна Боголюбова, ленинградка, эвакуированная в Удмуртию, завуч Большеучинской средней школы. Я закричала на весь коридор: «Слушайте, это моя бабушка выступает!», и меня даже «зауважали»: ещё бы, не у всех есть такие бабушки, чтобы выступали по радио! После этого решила: как только растает снег, поеду в Удмуртию и разыщу бабушку.

В этот великий план и великую тайну я посвятила только Риту с Лилей. Всю оставшуюся зиму мы выясняли, где находится Удмуртия, и оказалось, что это вовсе недалеко. Хуже было со снегом. Он в тот год растаял только к июню, но ночами было очень холод-



но и пришлось ждать до середины лета. Лилю мы с Ритой с собой не взяли: мала очень, но, расставаясь, дали зарок, что после войны обязательно встретимся (В 1986 году, через 43 года после той разлуки я действительно её разыскала в Ижевске, и мы всё-таки встретились!).

В удмуртское село Большая Уча мы с Ритой после двух месяцев различных дорожных приключений добрались только в августе 1943 года. И здесь нас ждало страшное разочарование: мои бабушка и дедушка, которые были, соответственно, директором и завучем Большеучинской средней школы, незадолго перед этим из Учи уехали, поскольку их единственный и дорогой сын Андрюша был тяжело ранен на фронте (на Курской дуге) и находился в Куйбышеве, в военном госпитале. Они уехали к нему в надежде его спасти. Но мы с Ритой этого, естественно, не знали и находились в полной растерянности: даже в детский дом мы уже не могли вернуться, т.к. быстро приближалась зима. В Большой Уче было много эвакуированных из Ленинграда и других западных больших городов.

В Большой Уче я пошла в школу.

## 7. Уча-Москва

Хорошо помню Большую Учу. Центральная площадь, на ней бывшая церковь, которая в те годы исполняла роль клуба. Площадь вся поросла низкой травой, а зимой покрыта снегом. На одной стороне площади – двухэтажная школа, окружённая забором, перед ней памятник погибшим во времена революции. В линию со школой жилые дома, длинная улица, уходящая от площади. С другой стороны площади – какие-то госучреждения (сельсовет?), там мне давали талоны на питание, и там же была столовая. К той стороне площади слева от сельсовета вплотную подходил овраг, спускающийся к речке Киливайке. За рекой начинался лес. Вообще леса окружали Учу со всех сторон и там было очень много волков. Зимой они приходили в центр села и бегали по школьному двору, но об этом – потом.

Мы с Ритой прибыли в Учу в середине августа. Бабушки с дедом там уже не было, но их в школе и на селе хорошо помнили и к нам отнеслись внимательно, хоть и несколько настороженно. Сперва нас определили жить в кладовке при школе, дали какие-то вещи, талоны на еду (один раз в день «суп» в столовой), пообещали помочь с розыском бабушки с дедом и, окрылённая надеж-

дой, я начала деятельно готовиться к зиме. Рита очень тяжело перенесла наше путешествие, она в детском доме переболела энцефалитом, и здоровье у неё было отвратительное. Надеяться я могла только на себя, нужно было обеспечить нас дополнительной подкормкой на зиму – на столовском супе прожить было невозможно. Единственной возможной работой была работа в колхозе. Урожай в тот год был хороший, рабочих рук не хватало, и легко выдавали «наделы» для уборки хлеба (по-моему, это была рожь). Я взяла на нас гектар, который нам дали, в основном, потому, что Рита была высокого роста и походила на человека, который может работать. Меня за работника, естественно, не считали, но именно мне досталась вся работа. Рита была очень слабой, она могла (но не долго), вязать снопы, а вся жатва была моя. Это было очень тяжело, но я после лета жизни на улице была полна решимости обеспечить нас едой на зиму, и каким-то чудом я эту работу сделала, хотя работала больше месяца и переутомилась очень и очень. За сжатый хлеб нам выдали 2 мешка зерна, а также овощи – картошку и свёклу. Была уже середина сентября, надо было поступать в школу. И тут выяснилось, что Риту (а ей нужно было в 5 класс) можно отправить в интернат в Вавож – это соседнее село, от Учи порядка 10 км. Конечно, я обрадовалась, потому что там её заведомо будут кормить. А для начальной школы интерната не было, и мне пришлось остаться в Уче, где я и отправилась в первый класс.

Младших классов было немного, да и учителей не хватало, поэтому были заняты всего два помещения, и в каждом сидели сразу два класса: первый с третьим, а второй – с четвёртым. Поскольку я до того в школу никогда не ходила, меня посадили в первый класс, а через проход сидели ребята третьего класса. Учительница была одна, и она занималась то с одним классом, то с другим. В первом классе, куда меня направили, были только деревенские ребята, которые не умели ни читать, ни писать, и первые уроки были – писать палочки и учить буквы. А я умела и читать, и писать, и считать. Это сразу же обнаружилось, и учительница, недолго думая, пересадила меня через проход – в третий класс. И я так и продолжала учиться в третьем классе.

С русским и литературой у меня было все хорошо, а вот с математикой было трудно. Считать я умела, но не более того, а в третьем классе уже нужно было решать задачи. Решать задачи меня никто не учил, и я познавала эту науку сама методом «подгонки под ответ». Очень помню такую картину: несколько девчонок из

класса сидим у кого-то дома и делаем домашнее задание по математике. Перед нами задачник, и мы решаем задачу. Инициатива в этом решении принадлежит мне, и выглядит это, приблизительно, так. Я говорю, например, «давайте это на это разделим». Делим, смотрим в ответ – не так. Тогда: «это и это сложим, а потом умножим» и т.д., пока не получим ответ. Так и решали, и постепенно я чему-то в этой арифметике училась и даже научилась. Во всяком случае, потом уже задачи у меня как-то стали сами по себе решаться, и так и решались уже всю оставшуюся жизнь.

В бытовом плане жизнь в Уче у меня поначалу сложилась плохо. Вместе с Ритой с момента нашего прихода в Учу мы вначале жили в небольшом чуланчике при новой школе. В местном сельсовете мне нечем было доказать своё родство с Боголюбовыми: у меня не было никаких документов, и мои слова, что это – мои бабушка и дедушка, местное начальство не впечатляли. Всё особенно осложнялось тем, что Боголюбовы, уезжая в спешке и не зная, придётся ещё вернуться сюда или нет, большинство своих вещей оставили в Уче. Поэтому пустить нас в их комнату – это значило – допустить нас до их вещей, а вдруг мы чужие? Никто не хотел брать на себя такой ответственности, предпочитая ждать, чтобы Боголюбовы вернулись и сами всё решили.

До отъезда они жили в большой комнате – «директорской», с русской печкой и погребом, там оставалось много одежды, в том числе – зимней, и вещей по хозяйству, даже кое-какие овощи были в погребе, но меня в их жильё так не пустили, несмотря на то, что надвигалась зима, а мне и надеть было нечего. После отъезда Риты в интернат я первое время прожила просто в старой школе, ночуя в том же классе, в котором и училась. Этот класс несколько месяцев был моим единственным домом, из которого я почти не выходила: на улице было холодно, уже наступила зима, а тёплой одежды у меня не было совсем. После окончания занятий все дети расходились по домам, а я оставалась в своём же классе. Там горела электрическая лампочка, было относительно тепло, и не было ни одного человека. Из еды у меня была только холодная вода и немного хлеба. Из вещей у меня был какой-то матрасик и какое-то одеялко (не знаю, откуда), и на ночь я расстилала свою постель на одном из столов в классе. Я в то время очень подружилась с местными мышами, которые приходили ко мне по ночам: я для них оставляла хлебные крошки и даже с ними разговаривала. С тех пор всегда любила мышей и хотела завести дома ручную мышь, да как-то не получалось.

С едой тоже было плохо. В сельсовете мне выдавали талоны «на обед»: один раз в день в столовой по ним давали «суп» и хлеб. Я не помню, что это были за супы, но, несмотря на голод, осталось воспоминание, что это было очень невкусно, и главное – бежать до столовой было очень холодно. Но даже эта еда была один раз в день, а есть хотелось целый день. У меня была заработанная рожь, и я её каким-то образом меняла на хлеб.

В бытовых мелочах моей благодетельницей была школьная уборщица, имени не помню, но с её дочкой – Валею я училась в одном классе и дружила. Они жили в главной школе, и, спустя сколько-то месяцев, уже зимой, когда по настоятельному ходатайству местной «общины» эвакуированных мне разрешили, наконец, перебраться в бабушкину-дедушкину комнату в главной школе, я стала проводить у Олюниных много времени. Одно из самых симпатичных мне воспоминаний того времени: мы с Валею режем картофелину кружочками и жарим эти кружочки прямо на чугуине плиты. Эти печёные кружочки картошки – самое вкусное, о чём только можно мечтать! Валина мама изредка топила мне русскую печь, но в основном у меня «дома» было довольно холодно. Зато теперь у меня было много тёплой одежды, и даже полушубок «до земли» и валенки! А ещё «дома» у меня была морковь и много-много свёклы, которую я, почему-то, в основном, ела сырой. Я тогда съела столько сырой свеклы, что долгие годы потом меня воротило от одного вида свёклы, и только спустя несколько десятилетий, я снова её «попробовала» и распробовала (варёную, конечно), и теперь снова её люблю.

С началом лета к еде прибавились травы. Из Вавожа на лето приехала Рита, и снова остро стал вопрос о питании. Мне возле школы ещё весной разрешили сделать огород, и я посадила овощи, удобрив грядки голубиным пометом, которого видимо-невидимо было на чердаке школы. В результате на огороде у меня выросла гигантская морковь, смотреть на неё приходили все окрестные «эвакуированные».

Очень важными в текущей жизни были мои отношения с окружающими взрослыми, местными жителями и эвакуированными женщинами, которых в Уче было немало. Я довольно много времени проводила в доме моей одноклассницы Розы Болтаевой. Дом был большой, обеспеченный и находился рядом с новой школой. Пройти в него можно было с улицы, через калитку, или прямо с территории школы, через дырку в заборе. Очень часто именно у Болтаевых мы и делали уроки: у них было тепло и светло. Ещё мы

во что-то играли. Я старалась подольше оставаться у Болтаевых, потому что у себя, «дома», было холодно и одиноко.

Однако в этих «посиделках» было и определённое своеобразие. Мы делали уроки, играли – до ужина. Потом семья Болтаевых садилась ужинать, а меня отправляли в сени, где я сидела на лавке в темноте (почему-то в сенях не было света). Никакой еды мне не предлагали, хотя изредка давали кусок хлеба. Эти голодные посиделки надолго остались у меня в памяти, и я не люблю сумерки и сидение в темноте, люблю яркий свет.

Когда становилось уже достаточно поздно, и было пора ложиться спать, я надевала свою оригинальную зимнюю одежду и от Болтаевых отправлялась к себе домой, в школу. В то время в округе было очень много волков, по ночам они ходили вокруг школы и выли. Несмотря на это, меня никто никогда не провожал, и я, пролезая через дырку, старалась поскорее добежать до двери в школу. И вот однажды ночью пролезла в дырку и уже бежала к школе, когда в ярком свете луны из-за угла школы отчетливо увидела на снегу тень волка. Поскольку никого из взрослых на улице не было, и надеяться мне было не на кого, я вернулась к дому Болтаевых и решила обойти школу с другой стороны, со стороны улицы.

На улице перед школой был небольшой, обнесённый оградкой, обелиск в память героев Гражданской войны. И вот, когда я вышла через калитку на улицу и двинулась к школе, то опять увидела тень волка, стоявшего за обелиском. Здесь моя храбрость кончилась, я закричала, сломя голову побежала к дому Болтаевых и стала стучать в двери, стучать и кричать. Взрослые выбежали, я кричала и плакала и они, конечно, в этот раз проводили меня домой. После этого всегда кто-нибудь стоял и смотрел, когда я бежала по тропинке от их дома к себе.

Зимой со мной случилось ещё одно происшествие, с весьма печальным продолжением. Как я уже говорила, вблизи села протекала речка Киливайка с довольно высокими берегами. С этих берегов к речке вся ребятня обычно каталась на лыжах. У меня тоже были лыжи – Андрюшины, и я их привязывала к Андрюшиным же валенкам (в валенки помещались мои ноги до самого паха) и так и каталась. Лыжи, практически, были не управляемы, и ехали, куда хотели. И вот однажды я на этих лыжах въехала напрямик в прорубь: лыжи туда въехали, а назад их было не вытащить. Я из валенок вылезла, выползла из речки на лёд, и мокрая и почти босиком бежала к себе в школу, а мороз

был градусов двадцать пять. В результате я отморозила ноги настолько, что с них слезала кожа, а ноги болели, гнили и страшно плохо пахли. Я почти месяц пролежала на печке у Олюниных, и ноги как-то зажили сами собой. Вот только они у меня всю жизнь мерзнут, как их ни одевай.

Летом всё было гораздо лучше: вокруг беспредельные сосново-еловые леса, а в них – грибы и ягоды. Грибов там было видимо-невидимо, причём великое множество рыжиков. В памяти сохранилось такое воспоминание: мы – целая куча ребятни, в основном, эвакуированные, – рано утром едем в лес на телеге. У всех – вёдра, и мы все в ельнике собираем рыжики. За день набираем целую телегу. Хозяин, который нас нанял, нас кормит и поит молоком, и мы счастливы. Домой возвращаемся вечером, а рыжики идут в хозяйский засол.

За ягодами (земляникой и малиной) мы обычно ходили группой, собирали их для себя, потому что в деревне землянику, да и малину не жалуют. В один из таких походов тоже было забавное приключение. Тогда в Удмуртии велась разведка нефти, по лесу ходили геологические партии с военной охраной – война, всё же. И вот однажды в лесу на большой пустой поляне мы набрали поставленные пирамидой винтовки. И – никого рядом! Наверное, солдаты тоже пошли куда-нибудь в лес, уверенные, что здесь людей не может быть. А тут мы! Мы, конечно, разобрали винтовки и стали их крутить туда-сюда. Я помню, что подняла эту тяжеленную винтовку, и, направив ее в небо и держа её от себя подальше, нажала на курок. Раздался оглушительный выстрел, и винтовка ударила меня в плечо с такой силой, что я свалилась на землю. Побросав все винтовки, мы бежали с этой поляны, как спринтеры, и путали следы, как зайцы. Но нас никто не нашёл, так что всё обошлось, только плечо у меня долго болело.

В отличие от местных, довольно равнодушных, эвакуированные относились ко мне очень хорошо и заботливо. В большинстве это были учителя, врачи, а в школе танцами с нами занималась балерина Большого театра. Все эвакуированные сами жили очень скудно, но меня подкармливали. Очень много для нас сделала врач местной больницы: она приняла деятельное участие и в розыске Боголюбовых, и в последующей отправке нас с Ритой в Москву. Ещё зимой она, бывало, звала меня к себе и расспрашивала о родителях, но особенно запомнилось, как она поила меня чаем с мёдом.

Зимой в клубе показывали кинофильмы. Меня пускали бесплатно, и все ребята мне очень завидовали. Помню, почему-то,

«Серенаду солнечной долины», но не сюжет, а неестественную, сказочную красоту танцев на льду. В то время мне казалось, что это – воплощение всего самого прекрасного из той жизни, которую я почти забыла, но которая когда-то была.

В этой же жизни отражением той, прошлой жизни были танцы, которыми я занималась с большим упорством и старанием. Наша руководительница была строга, за неправильные «па» шлепала линейкой по провинившейся части тела, но меня все это не только не обижало, но даже вдохновляло, поскольку было элементом человеческого общения, которого я была практически полностью лишена. Это меня также как бы уравнивало со всеми другим детьми – не сиротами, не замарашками, а детьми, имеющими родителей. Ведь про себя я была уверена, что – не сирота, что мои мама и папа живы, и я их обязательно найду.

В это время, повзрослев уже на три года по отношению ко времени начала войны, а по жизненному опыту – и на все десять, я хорошо понимала, что такое – война и смерть. В кино показывали военные хроники, они в моей памяти подкреплялись личным опытом, но я всё же не верила, что моя мама погибла тогда при бомбёжке эшелона. Ведь я-то жива! Я была также уверена, что папа воюет на фронте, что он – герой, и после войны мы обязательно встретимся.

В начале лета 1944 года в Учю на запрос директора школы пришёл ответ из Наркомпроса о местонахождении Боголюбовых: сообщали, что они работали в 490 школе г. Москвы, и больше – ничего. На совете «эвакуированных» было принято решение отправить нас с Ритой в Москву, как только придёт письмо – подтверждение от Боголюбовых. А оно всё не шло и не шло! Я торопила всех, просила как можно скорее нас отправить, несмотря на отсутствие письма. Мне казалось, что стоит только приехать в Москву и войти в эту 490-ую школу, как я и их найду, и жизнь снова наладится. А что они не отвечают, – так этому может быть сто причин: письмо потерялось, адрес перепутали и мало ли что ещё.

И, наконец, я уговорила свой «совет», тем более, что начался новый учебный год. Нам были куплены билеты на поезд, в сельсовете выдали справки, где были засвидетельствованы наши имена и фамилии, выдали аттестаты об окончании третьего класса – мне, и пятого класса – Рите. Нам собрали вещи Боголюбовых (их даже сдали в багаж, и потом в Москве была большая морока их получить), снабдили едой на всю дорогу и торжественно отвезли на подводе в Воткинск, где посадили на

поезд. Проводникам рассказали нашу историю и просили всячески помочь нам в Москве добраться до школы. Адрес школы у нас был. Впервые за всю войну я ехала в поезде в вагоне, а не вне его. Ехать было очень интересно, я, не отрываясь, смотрела в окно и в то же время с нетерпением ждала прибытия в Москву, представляя, как будут рады бабушка и дедушка когда они меня увидят! И я была уверена, что они так же будут рады видеть Риту, и Рита мне полностью верила и тоже с нетерпением ждала приезда в Москву. Мы обе были уверены, что нашим скитаниям пришёл конец.

Плохо помню, как в Москве мы добирались до Открытого шоссе, где находилась 490-я средняя школа. Стояло начало сентября, тепло и солнечно. Мы добрались до школы уже в конце дня, там почти никого не было, и никто не знал про Боголюбовых, даже такую фамилию никто из тех, с кем мы разговаривали, не знали. Вообще говоря, люди тогда были очень отзывчивые, нас никто не «отфутболил», нет, наоборот, нас оставили в школе и, как сейчас помню, напоили горячим чаем. В школу вызвали директора, и он нам объяснил, что Боголюбовы действительно в этой школе работали, но меньше месяца, а потом, вслед за сыном, переведённым в ленинградский госпиталь, уехали в Ленинград. Потому их здесь никто и не помнил. Что делать с нами – никто не знал, где искать Боголюбовых – тоже. Директор сказал, что надо искать Андрея через военное справочное, а потом уже, через него – его родителей. На это требовалось время, а нам нужно было где-то жить и учиться! Учебный год уже начался, и в школе к этому относились очень-очень серьёзно. И ещё нам нужно было что-то есть, а в Москве была карточная система, нам нужны были карточки и деньги, чтобы платить за продукты. Не знаю, кто окончательно принял решение в отношении нас, и как получили на это согласие московских властей, но мы с Ритой были поселены при школе в дворницкой, Рита оформлена дворником и получила зарплату и рабочую карточку, а я – детскую карточку. Каждое утро, очень рано (чтобы нас никто не видел) мы убирали всю территорию школы, а потом шли на занятия в свои классы. Завхоз школы с большим трудом получил наш багаж, и мы зажили в нашей маленькой комнате очень даже неплохо. Голодно, конечно, но кто тогда жил сытно?

Из московской зимы я помню очень мало. Мы с Ритой учились, я – в четвёртом классе, она – в шестом, по вечерам делали уроки. Из школы мы выходили очень редко и по Москве почти



не ездили – было некогда. Самое яркое воспоминание – мороженое в коммерческом магазине, купленное на улице Горького. Это было настолько удивительно и великолепно, что я помню радость от этого мороженого, можно сказать, всю жизнь.

Учиться было интересно, но трудно, потому что знаний у меня почти совсем не было. Я очень старалась, учительница меня жалела и занималась со мной дополнительно. Особенно она радовалась, когда я хорошо писала контрольные. Мне казалось, что она радуется даже больше, чем я. В результате наших совместных усилий я закончила четвёртый класс на одни пятерки, но думаю, что не так хороши были мои действительные знания, как все окружающие высоко ценили наши с Ритой трудовые и жизненные испытания.

Поиски Боголюбовых успешно завершились только после наступления Нового, 1945 года. Вскоре бабушка прислала мне замечательное письмо, рассказала про Андрюшу, про то, что теперь они с дедом живут в том же доме, где до войны жили мы – на площади Коммунаров (теперь – Никольская площадь) в маленькой комнате в коммунальной квартире, а их дом в Гатчине сгорел. Она писала, что все они – и дедушка, и Нина, и Андрюша, очень рады, что я жива и просто потрясены, что я сумела их найти, а также о том, что ничего не знают о моих родителях. Хоть уже приближалась победа, но в Ленинград можно было приехать только по вызову. Бабушка написала, что они немедленно начнут хлопотать об оформлении вызова мне и Рите, как своим внучкам. В результате мы прожили в Москве до июня месяца, закончили там учебный год и только тогда получили официальное разрешение на въезд в Ленинград.

Самое главное финальное мероприятие в Москве – это Победа. О том, что война окончилась, было объявлено по радио в ночь с 8-го на 9 мая. Уже часов в шесть вечера 9-го мая мы были на площади. Как-то сумели туда просочиться, хоть она вся была заполнена поющими, танцующими и обнимающимися людьми. Весь этот вечер слился в один сплошной праздник, в такую беспредельную радость, какой мне никогда больше в жизни не привелось испытать. Мы, маленькие девочки, с кем-то танцевали, помню меня поднимали на руки, чтобы я побольше увидела (проголодав всю войну, я выжила, но не выросла, и ростом была что-то около 120 см – как семилетний ребёнок). Риту тоже поднимали. Она хоть и была высокой (с моей точки зрения), но такой худой, что просто ничего не весила.

Несмотря на огромное количество всё время перемещающегося народа, мы с Ритой не растерялись в толпе. Сидя у кого-то на руках, мы с восторгом смотрели потрясающий салют Победы. Как я люблю салюты 9 мая, какую радость они всегда у меня вызывают, хоть уже прошло 70 лет. Наверное, чтобы даже сейчас 9-го мая во время салюта замирать от счастья, надо было пережить всё это тогда на Красной площади.

Интересно, что Ростислав, мой будущий муж, тоже в этот день был на Красной площади. Может, мы даже пересекались где-то или даже танцевали? Естественно, запомнить ничего было невозможно. Весь этот вечер слился в одно большое счастье, все лица всех людей на площади тоже были просто сплошное счастье и радость. Как мы вернулись домой – не помню, но вернулись, живые и счастливые. Мы ещё не знали, когда нам удастся уехать в Ленинград, но теперь-то были совершенно уверены, что это будет совсем скоро.

## 8. В Ленинград

Ура! Мы едем в Ленинград! Наконец-то, нам пришел вызов! От бабушки Лидии Семёновны, к которой мы с Ритой стремились и ехали почти три года подряд. Шёл август 1945 года. Уже три месяца, как закончилась война, и вот, наконец-то, заканчивалось наше беспризорное одиночество. Мы быстро собрали свой немудрёный скарб: в основном, книжки и тетрадки. Нас провожали, мне кажется, все учителя нашей московской школы (они и разыскали бабушку). Нам купили билеты, надали еды в дорогу, и ещё подарили маленького серого котёнка, очень красивого (в Ленинграде в это время кошек практически не было совсем!).

На вокзале в Ленинграде нас встречали все Боголюбовы: бабушка с дедом, Нина и Андрей. Андрей после своего последнего ранения, считавшегося смертельным, выжил, но рана его ещё не зажила, он был очень худым и постоянно кашлял.

Дед горевал только о своей библиотеке: она у него была замечательная, больше четырёх тысяч томов, со множеством редких книг и занимала в доме центральный зал. Как пострадавшие на войне, Боголюбовы получили жилплощадь в Ленинграде: две крохотные комнатки в двух разных коммунальных квартирах в том же доме на площади Коммунаров (Никольской), в котором с 1939 года жили мои родители и я. Мы с Ритой поселились в нашей комнате (моих родителей) – мы привыкли жить самостоятельно.

Комната наша была большой, не меньше 25 квадратных метров, два огромных окна, в двухкомнатной квартире. Ванны не было, в комнатах печки, вход в квартиру с чёрной лестницы через большую кухню с огромной дровяной плитой. Там же в кухне выгородка – туалет. В Ленинграде много такого жилья: хвосты делёных после революции больших барских квартир.

До войны во второй комнате жили папины незамужние тётки, сёстры его матери, золотошвейки из Мариинского театра. Как все Семёновы, они замечательно пели, а тётя Нюра была ещё и очень красивой. В семье шёпотом рассказывали, как сильно в нее был влюблён Собинов. Я тёток практически не помню, только пение и всегда кипящий на столе самовар и моё потрясение от того, как они этот кипяток пьют! Во время блокады тётки умерли от голода, как практически и вся большая семья Семёновых: из наших родственников от голода умерли 26 человек, а выжили только пятеро. Когда приехали мы с Ритой, в комнате тётушек жили «подселенцы», и наша квартира стала по-настоящему коммунальной.

В сентябре мы пошли учиться: я – в пятый класс 259 средней школы, что на набережной Крюкова канала у Мойки, а Рита – туда же, заканчивать седьмой класс. Однако училась она у нас



Логиновы Николай Андреевич и Мария Фёдоровна  
и Боголюбовы Николай Николаевич и Лидия Семёновна  
(слева направо)

очень недолго: мы сразу же разыскали её бабушку, и она ушла жить к ней.

Что касается меня, то в пятый класс прекрасной ленинградской школы я ввалилась, как из дремучего леса. По все предметам не знала почти ничего, а немецкого не знала вообще (они учили его третий год и многие хорошо уже говорили по-немецки). Было страшно трудно, помощи просить я не привыкла, и самолюбие моё страдало ужасно. К тому же только в Ленинграде я осознала, что за голодные военные годы перестала расти, и, несмотря на то, что такого голода, как раньше, теперь уже не было, не росла всё равно! Конечно, мы питались очень скудно, но Рита росла, а я – нет! Мы с ней выглядели очень комично: длинная, тощая как палка, Маргарита, а рядом – маленькая, и тоже тощая, как былинка, я. Андрей смеялся и говорил, что надо в карманы накладывать камней, чтобы ветром не сдувало.

Учиться мне нравилось, я занималась очень много и к седьмому классу выровнялась: закончила всего с одной четвёркой. А с восьмого класса четвёрок у меня уже не было, и школу закончила с золотой медалью. В седьмом классе я внезапно выросла сразу на двадцать сантиметров, потом – еще на пятнадцать, и такой «почти сто шестьдесят» и прожила всю свою жизнь. Меньше папы, меньше мамы.

Наша 259 школа была женская, в классе одни девочки, из-за войны – очень разного возраста. Некоторые были уже совсем взрослыми, и интересы у них были тоже взрослые. Зоя Васильева, например, была старше меня на шесть лет, и по росту я ей была чуть выше пояса! Немудрено, что первые годы меня в классе, можно сказать, не замечали, а когда я подросла и выбилась в первые ученицы, то уже привыкла к тому, что близких подруг у меня в классе нет. Со всеми были хорошие отношения, я с удовольствием помогала тем, кто «хромал» по математике или физике, но дружила по-прежнему только с Ритой.

Но всё это было уже потом, в конце сороковых годов (я окончила школу в 1951), а тогда, в 46-ом, события развивались стремительно. Почти одновременно в Ленинград вернулись папа и мама. Папа – из армии, мама – из Барнаула, где она работала в каком-то проектном институте. Они во время войны тоже ничего не знали друг о друге, а почему – я не знаю. Что я нашлась и приехала в Ленинград одна, без мамы, папа уже знал от бабушки Марии Фёдоровны (своей матери), и теперь стремился скорее увидеть меня.

Для мамы же встреча со мной – это был и сюрприз, и страшное психологическое потрясение: ведь всю войну она считала, что я погибла, и винила в этом себя. У неё всегда была слабая нервная система, от этого потрясения она заболела неврозом, и папа наложил «табу» на все военные воспоминания нашей семьи. Маму мы все очень любили, и до самой её смерти практически никогда не вспоминали, как мы жили во время войны.

Вскоре мама отыскала в детском доме в Лодейном Поле Танюшку – младшую дочь своей любимой тётки Анюли (Анны Семёновны Кобозевой (Дмитриевой)). Тётку Анюлю с дочерьми Натусей и Танюшкой вывезли из блокадного Ленинграда только в марте 42 года через Ладогу, но они были так истощены, что умерли в госпитале от дистрофии. Выжила только Танюшка. Когда папа в 47 году привёз её к нам, она вообще не разговаривала (а ей было почти 8 лет!) и только при каждом резком стуке вздрагивала, и говорила «бомба». Постепенно в очень доброй атмосфере нашей семьи она пришла в себя, пошла в нашу же школу в первый класс, а на меня была возложена обязанность её опекать и помочь ей «догнать» одноклассников. Только через год, в 48 году, когда демобилизовался Танюшкин отец, он забрал её к себе.

Для меня школьные годы, особенно их начало, были очень трудными. Главная трудность заключалась в неожиданной для меня перемене моего статуса: от человека, как взрослый, отвечавшего за свою и Ритину жизнь, до ребёнка, живущего с мамой и папой и должного их слушаться. Только что я должна была заботиться о «хлебе насущном», об одежде, обо всех жизненных ме-

лочах и вдруг сразу назад, к послушным детям, о которых заботятся другие, а они понятия не имеют, откуда берутся деньги и что сколько стоит. Но вернуться в детство оказалось так трудно, что просто даже и невозможно.

Я очень любила своих родителей, была бесконечно счастлива, что сбылась мечта всех военных лет, и мы снова все вместе, и потому всеми силами старалась ни с кем не ссориться, родителям не возражать, и если и не слушаться так, как они хотели, то изображать послушание. Четыре с половиной года у меня была своя самостоятельная жизнь, и отказать-



Мама

ся от неё я просто не могла. Вначале опорой в новом мире для меня была Рита, которая привыкла меня слушаться, как раньше, но когда она ушла к матери, я осталась со- всем одна.

За все время учёбы в школе у меня не было близких друзей, хотя со многими в классе я была в очень хороших отношениях. В младших классах самой близкой моей подругой была Ада Вознесенская, с которой мы проводили много времени вместе. Эти отношения, однако, к седьмому клас- су как-то ослабели, особенно после того, когда меня пересадили на другую парту (почему – не помню). У Ады редкий талант: она с детства была абсолютно грамотной. Ещё не зная правил грамматики, она никог- да не делала ошибок в русском языке! Наша учительница Нина Ивановна уже в пятом классе поручала ей проверять наши пись- менные работы. Однако дома ей приходилось тяжело. Отец Ады – хороший художник, после возвращения с фронта работавший в Эрмитаже, дома по отношению к жене и дочери был, по моему мнению, страшным деспотом. Во всяком случае, Ада его боялась, а я ничем не могла ей помочь, да и сама его побаивалась. Поскольку я очень не любила бояться, стала реже бывать у них дома.

Театр. Этим удивительным словом в моей жизни именуется целая эпоха, срок которой – 4 года, что для возраста от 13 до 16 лет просто целая жизнь. Эта жизнь текла независимо от школы, соприкоснувшись с ней только в самом начале. И она была невооб- разимо прекрасной, позволявшей не замечать голод, бедность, не замечать вокруг вообще ничего.

Но чтобы было понятно, в чём дело, надо начать с начала, да ещё представить себе, что всё это происходило в послевоенном Ленинграде, где население ещё было маленьким, а отношения – совершенно неформальными.

В 6-ом классе, у нас начался новый предмет – «труд». Пре- подавала его женщина, показавшаяся мне вначале очень старой, больной и некрасивой – Доротея Рудольфовна. Она пыталась на- учить нас основам рисования, но большинство, в том числе и я, рисовали очень плохо, и к её урокам класс относился достаточно прохладно. Иногда она рассказывала нам что-нибудь о знамени- тых художниках и их картинах и приносила репродукции. Вот это



Маргарита Леоновна  
Лосева

мне нравилось: я внимательно слушала и даже задавала вопросы. Она меня заметила.

В следующем году (мы были уже в 7-ом классе) к седьмому ноября Доротея Рудольфовна неожиданно предложила нам разучить и прочитать на празднике монтаж по поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Все встретили это предложение с энтузиазмом! Она отобрала большую группу и начала учить нас читать стихи. Нас даже приглашали потом выступать в другие школы. Доротея тоже была очень рада успеху и сразу же задумала новые постановки: опять учили и читали Маяковского и начали ставить небольшие сценки из пьес Островского и Чехова. Словом, обычный школьный драмкружок.

Необычной была личность Доротеи Рудольфовны, которая меня притягивала магнитом. Теперь я уже ясно видела, что она совсем не старая, что она красавица, но что она очень-очень сильно больна. Она же никогда не жаловалась и о себе не говорила, и я долго не знала (и даже не догадывалась!) ни того, что она потеряла здоровье в лагере где-то на Колыме, ни того, какого труда ей стоит просто ходить по улице. Я в то время не знала, что в молодости она была известной актрисой, которой прочили великое будущее, но национальность (она была немкой), знакомство с Мейерхольдом, и, может быть, другие обстоятельства привели её в лагерь, откуда она вышла живой, но без права работать в театре. Видимо, возня с нами была для неё единственной отрадой.

В начале восьмого класса в нашем кружке осталось всего 5–6 человек постоянных участников, и Доротея Рудольфовна объявила нам, что для серьёзных постановок необходимо серьёзно заниматься. Желательно – каждый день и по несколько часов. Нужно развивать дыхание и ставить голос, учиться движению, знакомиться с искусством. Занятия она перенесла к себе домой, и с этого времени практически все свободные вечера я проводила в маленькой комнате Доротеи Рудольфовны и её мужа – Константина Константиновича Миронова в коммунальной квартире в Тучковом переулке Васильевского острова.

Что это были за волшебные занятия! Мы приходили к ним домой, и слушали лекции по искусству, которые нам читала Доротея Рудольфовна. Мы смотрели и читали удивительные книги, которые, конечно, нельзя было выносить из их дома. Потом мы часами читали гекзаметр, ставя дыхание, и Константин Константинович занимался с нами, не жалея сил и времени. А ведь он в это время уже был очень известным чтецом на радио (потом длительное



Ростислав Николаевич Галль  
со своей матерью Ксенией. 1940 год.



Лидия Николаевна с мужем  
Ростиславом Галль

время – режиссёром на радио). А после занятий мы пили чай. Вот о чае следует рассказать особо, поскольку эти чаепития – одно из тех удивительных чудес моей жизни, которыми жизнь меня почему-то баловала.

Маленькая комната их в коммунальной квартире на самом деле была настоящим музеем. Я, например, за столом сидела в кресле папы Пия XIII (все антикварные вещи у них были подлинными и имели документы), а за моей спиной был резной дубовый шкаф из рабочего кабинета Петра I. Были и другие удивительные вещи, но по тогдашней своей неграмотности я их плохо запомнила. На меня же наибольшее впечатление производила посуда, из которой мы пили чай. Мне всегда ставили чашку, прекраснее которой я ничего не встречала в жизни. Чашка в форме цветка лилии была из почти прозрачного голубого тонкого фар-



Лидия Николаевна с мужем, сыном Николаем и дочерью Антониной.



фора, и на лепестках этого цветка были прозрачные камни, как капельки росы. Даже смотреть на неё было счастьем, а уж держать в руках и пить чай! И никакого дела не было до того, что чай был почти без сахара, а к нему полагался только маленький кусочек чёрного хлеба, который наши учителя выделяли из собственного скудного пайка. Шёл 1948 год, и время было ещё очень голодное. И за чаем мы слушали волшебные рассказы о театре Маяковского, где молодые Доротея Рудольфовна и Константин Константинович участвовали в постановке «Клопа», о театре Мейерхольда, о великих и знаменитых артистах далёкого и близкого прошлого.

В этот период мы репетировали сцены из «Грозы» Островского, где Нина Стрельникова играла Катерину. Нина – удивительно красивая девушка, умная и цельная натура, из потомственной профессорской семьи, в то время «задавала тон» и в нашем классе, и в нашей маленькой группе у Доротеи Рудольфовны. Себя я в это время совсем не помню. В то время я казалась себе такой маленькой и некрасивой, привыкла быть одинокой и никому не навязываться в друзья, и была счастлива уже от того, что почти каждый день могу бывать в этой комнате и слушать эти волшебные рассказы.

В конце 48 года Доротея Рудольфовна решила, что с нами уже можно попробовать поставить что-либо более крупное, чем отдельные сцены. Из соседней мужской школы пригласили мальчиков, и «театр» закрутился! Самой большой нашей постановкой этого времени была очень популярная в то время пьеса «Снежок» (автора не помню). Главным героем пьесы был негр-подросток, влюблённый в белую девочку, дочку миллионера, и его печальная судьба. Пьесу мы показывали много раз с большим успехом, в том числе – и на сцене ТЮЗа. Я играла эту девочку Анжелу и с этого времени даже какое-то время всерьёз мечтала о театре. Доротея Рудольфовна говорила мне, что я талантлива, она считала, что мне стоит поступать в Театральный институт, но моя самооценка была настолько низкой, что даже её мнение не могло ничего изменить.

В то время я была таким «гадким утенком»: невысокого роста, очень худенькая, с двумя косичками и очень плохо одетая. До 49 года у нас в семье просто не было никакой хорошей одежды, ни у меня, ни у родителей.

Когда папа перешёл на партийную работу (в 1949 году) и стал получать более высокую зарплату, моя мама купила себе первое

в своей жизни шерстяное платье. Но это было уже несколько позже, а в начале этого увлечения театром у меня не было ничего, кроме школьной формы с чёрным передником, который нельзя было снимать, поскольку на форме спереди была штюпка и чернильные пятна. Да и остальные ребята нашей «группы» были не сильно лучше одеты, но всё же лучше, чем я. Вот в это время я приняла одно из главных в своей жизни «боевых крещений», поскольку как-то сумела в своём старом платье держаться так, как всегда держалась моя мама. Ведь это она когда-то сказала мне, ещё совсем маленькой, когда я на свои копейки купила страшно мне понравившиеся зелёные стеклянные бусы: «Хорошие бусы, – сказала она задумчиво, – но мы, Боголюбские, никогда не носили подделок!». Она сказала это как-то так, что я запомнила её слова на всю свою жизнь. И это помогло мне ходить в моём старом платье среди всех так, как может ходить настоящая Боголюбская, и ни разу никто не осмелился хоть как-нибудь проехаться насчёт моей одежды. Все молча согласились с моим правом быть в этой компании такой, какой мне хотелось.

Хоть дома у нас «главными» были филологи, и литературу я любила и знала, но ещё больше я любила математику и физику.

Куда идти учиться после школы – мне было всё равно, и случайный совет малознакомой девочки: «Иди к нам в Политехнический» я приняла, тем более, что от нашего дома к Политеху шёл прямой трамвай № 32. В каком-то смысле это был решающий довод! У меня на руках был аттестат об окончании школы с золотой медалью, сдавать экзамены было не нужно, и я незамедлительно подала документы на Физико-механический факультет Политехнического института, после чего уехала с мамой на дачу в Репино.

Моя новая жизнь началась 1 сентября 1951 года: мне исполнилось 17 лет, и я первый раз пошла в свой (отныне и на всю жизнь) Политехнический институт.